



Аврил ПАЙМАН

У водоразделов мысли: кризис или крушение?

(Тема «гуманизма» у Вяч. Иванова, А. Блока,
о. Павла Флоренского)

Потерпи еще немного,
Скорбный путник, Человек!
Приведет твоя дорога
До верховья новых рек.
Миновав водораздела

Иванов Вяч.

Человек: Prooemion (III, 228).

Эти строки, «бред 1916-го года», Вячеслав Иванов поставил авторэпиграфом к статье «Кручи: О кризисе гуманизма. К морфологии современной культуры и психологии современности» (III, 336), изданной в «Записках Мечтателей» в том же 1919 году, как она и была написана. Не отсюда ли Павел Флоренский, намеревающийся написать, но так и не написавший комментарии к «Человеку», взял название для капитального своего многотомного исследования «У водоразделов мысли», на который заключил договор с издательством «Поморье» в 1922 году, и над которым работал многие годы и до и после революции 1917 года? Как и Владимир Соловьев, благословивший Вячеслава Иванова на поэтический дебют со сборником «Кормчие звезды», Флоренский считал, что поэта читатели без комментариев не поймут. Но можно ли стихи пересказать прозой?

Конечно же, как сказала Анна Ахматова о прозаическом переводе Набокова «Евгения Онегина», Пушкин был вполне способен написать свой «роман в стихах» прозой, если бы почел нужным. Если ни Вячеслав Иванов, ни Александр Блок не обладали всесторонней гениальностью Пушкина, то все-таки им хватало таланта на выражение своей тревоги по поводу культурного кризиса прозой — хотя бы прозой поэта. Флоренский более досконален, и как диагностик и как врач. Блок при всем пафосе лирической обреченности, при всем мужестве и при всей красоте некоторых формулировок, действительно производит впечатление беззащитного ребенка в заколдованном лесу, что в нем заметили и Горький и Гиппиус. О Вячеславе Иванове Блок

сам написал Белому, что ценит его как «прекрасного поэта», что мировоззрение его («мифотворчество») воспринимает «как лирику».¹ Поэты откликнулись на животрепещущую тему кризиса гуманизма в 1919 году почти одновременно. Они выступили и лирично, от себя, и с точки зрения творческой интеллигенции; не по-научному, как отец Павел, «ползком»² добирающийся к цели через заросли уравнений, диаграмм, этимологических исследований, философских предпосылок и конкретных примеров. Общее у них то, что все они, по определению Вяч. Иванова, «люди порога» (III, 272), и именно Флоренский все возвращался к задающему камертон для всех троих четверостишию Тютчева:

О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия.³

Образ стоящего на перевале человека, оглядывающегося на пройденный путь и всматривающегося в грядущую дорогу, особенно подходит мышлению Флоренского, который с детства чувствовал время как бы пространственно, в разрезе, как геологические пласты, хотя в то же время как необратимость. Булгаков пишет о своем друге, что он как бы не заметил войны и революции⁴, а Блок и Вячеслав Иванов в своих докладах откликаются на исторический момент, который для них — завершение, а для него — лишь «симптом» кризиса гуманизма.⁵ Все трое, однако, видят за историческим моментом мерцание «двойного бытия» культуры, которая как Янус смотрит в два, как бы противоположных направления: к опровергнутым кумирам прошлого, и в будущее, очертания которого лишь смутно угадываются.

В чем сходство и в чем различие их культурного диагноза? О каком «гуманизме» они говорят? На какую замену им надеяться?

Все сходятся на том, что гуманизм обречен; но не бесполезно исследовать, в чем еще они сходятся, поскольку к именам всех троих писателей пристало много неверных суждений. О Вячеславе Иванове, например, на основе «Переписки из двух углов», смотрят исключительно как на хранителя культурного наследия, Thesaurus» а от tabula rasa Гершензона. О Блоке часто встречаются суждения, что это — «Скиф», призывающий к разрушению старого (и в особенности старого европейского) мира. Флоренский предстает у некоторых критиков форменным Саванаролой, чем дальше, тем жестче осуждающим всякую светскую культуру и заклинаящим возвращение к «магическому» мировоззрению средневековья.

Между тем, приговор гуманизму, как каждый из них его понимает, все трое произносят, хотя и с болью, но в один голос:

Блок: «...исход борьбы решен <...> движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки»⁶.

Иванов: «...то — что ныне мы называем гуманизмом, предопределяя им меру человеческого, должно умереть... И гуманизм умирает» (III, 377).

Флоренский: «Наши современные события — одно из явлений, один из кризисов разрушения до конца возрожденской культуры».⁷

Разве можно возразить, что когда Флоренский пишет о «возрожденской культуре», Блок говорит о движении «гуманной цивилизации», а Вячеслав Иванов — о гуманизме? Ни Блок, ни Иванов, однако, не имели в виду гуманизм древних; оба думали именно о культуре возрожденческого типа. Иванов как филолог, это определяет четко. В древности, объясняет он, в быту простонародья и в организации рабовладельческой экономики не было и в помине «гордого гуманистического самосознания и самодавления», а в культах и в трагедиях Древней Греции был «принцип очищенный, освященный в таинстве», благодаря которому «человек освободится от буйного титана в себе только путем медленного искупительного процесса» (III, 375). Этот процесс в своей жизни Флоренский назвал «матезис». С 1908-го по 1918 год он читал лекции о греческой философии в Московской Духовной Академии и все больше убеждался, что именно в укорененности в культе и древней культуре — источник расцвета православной русской мысли. Флоренский, конечно, подписался бы обеими руками под позднейшим стихотворением Вяч. Иванова из его «Римского дневника» (от 27 сентября 1944 года):

Языков правду, христиане,
Мы чтим: со всей земли она
В Новозаветном Иордане
Очищена и крещена.

(III, 632)

Но тот гуманизм, который в «Кручах» оплакивал Вячеслав Иванов как «тело героя», которого следует чтить и восславлять, но и скорей похоронить (ибо «истлевающие останки внутренней формы заражают местность миазмами тления»), воцарился в умах лишь тогда, когда «...рушилась героическая попытка средневековья построить земное общество по предлагаемой схеме иерархий небесных...», а далее подчеркивал:

«<...> Человечество живо почувствовало, что гуманистическая идея есть сила освободительная, что она прежде всего — здоровье — и при первом расшифровании двух-трех строк из непонятных до того греческих манускриптов, при первом узрении вырытых из земли мраморных идолов обрадовалось, что «жизнь им возвращена со всею прелестью своей». А, обрадовавшись, очень твердо решило и сумело воспользоваться жизнью, что сама историческая действительность с ее крепостническим преданием должно было склониться, хотя бы для вида, под ярмо гуманизма и стерпеть — «Декларацию прав человека и гражданина» (III, 377 и 376).

Блок, также видящий в революции изнанку самоутверждения гуманизма, оговаривается с первых же слов своего доклада:

«Понятием *гуманизм* привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и всю Европу и лозунгом которого был *человек* — свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма — *индивидуализм*.

<...> Возникает вопрос, мог ли народ вообще быть затронут движением индивидуалистическим по существу; движением, в котором он не принимал участия, или его отгоняли <...>

Сверх того, это самое индивидуалистическое движение возникло из возрождения древней цивилизации, которой, в свою очередь, никогда не была затронута толща народная...»⁸

Таким образом, и в «Кручах», и в «Крушении гуманизма», и у Флоренского идет речь о гуманизме возрожденческого периода — и о «человеческом, слишком человеческом». Вячеслав Иванов вспоминает ницшеанское изречение о том, что человек — это «не-что в нас, что должно быть превзойдено и преодолено» (II, 375). Флоренский так же с болью, даже с чувством вины упоминает Ницше: «не понявший себя самого, стремившийся ко Христу, и не разгадавший Его *из-за нас*»⁹.

В контексте Ницше стоит обратить внимание на то, что хотя ни один из наших авторов не упоминает Шпенглера, очевидно тогда еще не доходящего до сознания лишь вчера еще воевавшей с Германией России, они ссылаются в своих суждениях о кризисе гуманизма именно на немецких авторов. Блок почти ученически излагает Хоннегера, но от себя выдвигает фигуры Гёте, Канта, Гейне и Вагнера, при том, первые две возвышаются громадами на перевале мысли, достигнутом уже в XVIII веке: Гёте «остается один — без юного Шиллера и без старого барокко; он различает во мраке очертания будущего <...> Он, застывший в своей неподвижности, с загадочной двойственностью относящийся ко всему, подает руку Рихарду

Вагнеру...» А Кант, «этот лукавейший и сумашедший мистик <...> ставя предел человеческому сознанию, сооружая свою страшную теорию познания <...> был провозвестником цивилизации, одним из ее духовных отцов. Но, предпосылая своей системе лейтмотив о времени и пространстве, он был безумным артистом, чудовищным революционером, взрывающим цивилизацию изнутри». ¹⁰

Флоренский полагал, что давно намеченное саморазложение западноевропейской культуры, с особенной ясностью показано Марбургской школой, и он также видел провозвестников конца высокой возрожденческой культуры в Гёте, Шеллинге и «немецких актуалистах». А в «великом лукавце» Канте признавал вершину «ренессансного мировоззрения», с высоты которой «как с вершин видно то, что потом исчезает. И у него появляются новые тона, звучащие средневековьем. Особенно важно его открытие греховности как склонности к греху, а также его учение об антиномии. Он указал, что в разуме есть трещина, что рационализм сам в себе разлагается. Он выяснил, что противоречия есть признак не слабости, а жизненности человеческой мысли <...> В основе эволюционизма и механического мировоззрения лежит отрицание пространства и времени, утверждение, что наши формы субъективны. Это объявление человеческого разума иллюзией наиболее зловредно. Пространство определялось лишь отрицательными признаками <...> мыслилось бесконечным протяжением, сосудом без стенок. Отсюда пустота, отрицание бытия в культуре Ренессанса. Вселенная конечна — в силу принципиальных начал современной физики». ¹¹

Вячеславом Ивановым европейские, в частности немецкие корни духовного кризиса настолько усвоены, что ему и не надо упоминать имен. Вот его лапидарное изложение медленно назревавшего кризиса, в котором он перекликается по существу и с Блоком-поэтом и с Флоренским-математиком-физиком.

Мир являющийся еще так недавно, является человеку иным, нежели каким он предстоит ему сегодня. Человек еще не забыл того прежнего явления, а между тем не находит его более перед собой и смущается, не узнавая недавнего мира, словно кто-то его подменил. Где привычный облик вещей? Мы не слышим их знакомого голоса. По-новому ощущаются самое пространство и время — и недаром адепты не одной философии, но и физико-математических наук говорили об «относительности» пространства и времени (III, 369).

Именно эта «относительность», которую так остро переживал и любимый Флоренским и Вячеславом Ивановым Хлебников, подорвала доверие художника к своей способности отражать в себе реальность. Поэты, пишет Иванов, отказываются от языка; живописец принимается за разложение предмета или ударяется в беспредметность;

музыкант отказывается от законов музыки. Примерами выдвигаются Пикассо и Скрябин.

Флоренский, конечно, писал на все эти темы и приводил те же примеры из московской культурной жизни эпохи. (Пикассо все видели у Щукина; Хлебников и Скрябин — свои люди). Конкретно, со множеством примеров, отец Павел неоднократно развивал тему о пространстве: в лекции «Об обратной перспективе», прочитанной в 1919 году, в своей книге «О мнимостях в геометрии», изданной в 1922 году, в прочитанном в 1920 по 1924 годам курсе лекций о пространстве во ВХУТЕМАСе, в статьях для журнала «Маковец», в заметках о том же Пикассо. Он также неоднократно отзывался о музыке Скрябина. В лекции «Об антиномиях языка» он высказывался о «зауми», и вообще об искусственном языке, как об отказе от Логоса.¹²

Более расплывчато и Блок оплакивал то время, когда наука и искусство шли рука об руку друг с другом, образовывали «единую музыку». Теперь же основная черта современного общества состоит «в его разрозненности, в отсутствии всякого прочного единства»¹³, «его нецелостность, раздробленность».¹⁴ У Вячеслава Иванова давно существовало для этого процесса слово «разлука».¹⁵ Флоренский в пореволюционных лекциях использует термин «энтропия».¹⁶

Все трое сходились на том, что процесс распада цивилизации происходит давно и происходил до тех пор постепенно. Флоренский, *sub specie aeternitatis*, упоминает об ответе Христа тем, кто требовал знамения: «Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?» (Мф. 16: 2–3).¹⁷ Мы не знаем сроков, но обязаны отнестись внимательно к «знамениям времени». Большевиком, у Флоренского не «светопредставление», каким он мерещится крестьянам платоновского «Чевенгура», но и «не только капусты и картошки».¹⁸ Блок, как и Флоренский, хотя и без уверенности священника в момент соприкосновения с Вечностью в таинствах и праздниках церкви, чувствует явное как бы онтологическое наличие двух времен: «...новая историческая сила вступает в историю человечества постепенно. Но то, что происходит медленно по законам одного времени, происходит внезапно по законам другого: как бы движения одной дирижерской палочки достаточно для того, чтобы тянущаяся в оркестре мелодия превратилась в бурю»¹⁹. Вяч. Иванов также давно различает знамения времен: «Люди внимательные и прозорливые могли уследить признаки этого психологического перелома раньше, чем наступил исторический переворот, выразившийся в войне и революции. Началось это перестроение прежнего строя жизни не приметно, — и когда началось, многие испытали неопределенно-жуткое ощущение, как будто почва поплыла у них

из-под ног, почему естественно впадали в растерянность и уныние <...> Человечество линяет, как змея, сбрасывая старую шкуру, и потому болеет» (III, 370).

Эти три столь разных человека, стоящие «на пороге как бы двойного бытия», сходятся на том, что гуманизм обречен не только по внутренним, психологическим признакам, но из-за разлада человека с природой. Гордое самосознание гуманизма возрожденского типа, считает Вячеслав Иванов, «не любит максимализма потусторонних надежд и последовательно должно было отвращаться от христианских посулов, как от сделки рискованной и убыточной *для земного хозяйствования*» (III, 376; курсив мой — А. П.).

Флоренский неоднократно и недвусмысленно возвращается к той же мысли: «Возрожденское миропонимание есть миропонимание человека, отпавшего от природы. Наше время пытается окончательно завладеть природой, насиловать ее по своему усмотрению, хищничать в ней, вместо того, чтобы прислушиваться к ней, хочет рационализировать ее по своим схемам и поработить». ²⁰ Блок также предвидит месть природы за пренебрежение человека к ее несоответствующим представлениям гуманистов законам:

«Один из основных мотивов всякой революции — мотив о возвращении к природе; этот мотив всегда перетолковывается ложно; его силу пытается использовать цивилизация, она ищет, как бы пустить его воду на свое колесо; но мотив этот — ночной и бредовый мотив; для всякой цивилизации, он — мотив похоронный; он напоминает о верности иному музыкальному времени, о том, что жизнь природы измеряется не так, как жизнь отдельного человека или отдельной эпохи; о том, что ледники и вулканы спят тысячелетиями, прежде чем проснуться и разбушеваться потоками водной и огненной стихии». ²¹

Итак, конец гуманизма — конец человека? Стоящим на водоразделе все же мерещится даль и они ищут, как собраться силами идти дальше.

У Блока, можно сказать, три завета:

1) Призыв к некоторой аскезе: «Утрата равновесия телесного и духовного неминуемо лишает нас музыкального слуха, лишает нас способности выходить из календарного времени, из ничего не говорящего о мире мелькания исторических дней и годин, — в то, другое, неисчислимое время» ²².

2) Призыв к мужественному трагическому мирозерцанию, «которое одно способно дать ключ к пониманию миров». ²³

3) Последнее и наиболее сомнительное увещание: отдаться потоку «духа музыки», в котором намечается «новая роль личности, новая человеческая порода ... не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист» ²⁴.

Флоренский писал сыну Кириллу с Соловков про «древнеэллиническое постижение жизни, трагический оптимизм». ²⁵ Проповедовал не долг, не мораль, а волю Божию, «гибкость», и почти до конца жизни «слушал музыку» в себе. ²⁶ Он так же призывает к личной аскезе (конечно, в рамках церковного устава) и к попытке жить и в том и в другом, неисторическом времени. Но, как воспитатель священнослужителей, призванных служить в обесдоленной церкви и во враждебно настроенном обществе, отец Павел более положителен и активен в своем призыве к приготовлению новой культуры: «человек является творческим центром, а не глазом только, смотрящим в щелку на мир, не пассивным зрителем, находящимся вне мира, а активным его участником. Человек осознал себя как доктор мира, как творящую субстанцию» ²⁷. Флоренский верил, что новая синтетическая культура «средневекового типа» (и согласная «русской идее») станет возможной при обновлении жизни в церкви, во Христе: «Иисус Христос — индивидуальность, заключающая в себе все другие индивидуальности, все — в Нем, всякое действие, всякое наше действие, наше суждение, вся полнота многообразия того, что было, есть и будет, заключена в Нем. Все мы должны обсуждать, имея Христа отправным пунктом своих мыслей. Здесь прямое столкновение Возрожденской логики». ²⁸

Рецепт Иванова в 1919 году, хотя и с налетом христианствующего славянофильства, менее отчетлив и еще выговаривается с былой любовью к вычурной терминологии. Он именуется «моноантропизмом».

Иванов считает, что художник сам найдет выход из творческого кризиса благодаря инстинкту самосохранения, который его, как поэта все же прежде всего заботит. Не может ведь поэт вечно отказываться от языка, художник от предмета, музыкант от тона: но тем не менее, он признает закономерность этих отказов как преодоление отцветшего гуманизма.

«Как же нам, однако, стремиться вперед в ритме времени, которое нас взметает и разрывает, отдаться зову всемирного динамизма — и в то же время оставаться «крепкими земле», верными кормилице-матери? Задача, по-видимому, неразрешимая — грозящая поэзии гибелью. Но невозможное для людей возможно для Бога, — и может совершиться чудо узнания Земли и поздними чадами <...> это будет Новый Миф» (III, 372). Для этого, однако, человек должен «так раздвинуть грани своего сознания в целое, что прежняя мера человеческого будет казаться ему тесным коконом» (III, 372).

«Новый миф» и раздвижение граней сознания оказываются однако той же соборностью на основе философии Соловьева, «общего дела» Федорова и вины всех за всех Дмитрия Карамазова. И зачем, в сущности — «Новый миф»? В христианстве «ни йоты не пройдет, но дивно оживет и сполна осмыслится <...> Ибо постигнется тогда,

что значат евангельские слова о вовлечении всех во Христа и о ветвях на лозе единой» (III, 379). В ритме «безмолвия и путях свободы» (III, 380), преступник присоединится опять к человечеству, как Раскольников, как Орест: Человек, значит, больше не один, а «един», как Адам, а такое исцеление окажется возможным лишь расставшись со старым мировоззрением, ибо «...взгляд на преступника, как на отщепенца, нуждающегося в воссоединении с целым, — это, конечно, не гуманизм» (III, 382).

Как видно, все здесь, хоть и не тождественно по форме, в мышлении развивается по тем же путям, как и у Флоренского — туда, где «древняя память и новые предчувствия встречаются» (III, 382) уже, — *за* гуманизмом.

В заключение хочется сказать, что перед нами не варвары (хотя бы и «ученые»), не враги европейской культуры, а именно оплакивающие «тело героя» — каждый на свой лад. Была ли эта тризна преждевременной нам, в данный момент, трудно решить. Гуманизм именно в том смысле, который имели в виду Вячеслав Иванов, Блок и Флоренский, пока торжествует. Современная объединенная Европа отказалась упомянуть в Конституции свои христианские корни, и избрала гимном шиллеровскую «Оду Радости» на бравурную музыку Бетховена. А для своего поколения, для себя — «люди порога» были правы. Блок задохнулся от изношенного сердца и «отсутствия воздуха». Флоренский был оторван от семьи и от научной работы, а затем и расстрелян. Лишь Вяч. Иванов в лоне Католической церкви дожил свой век славословцем. «Охотно сознаюсь — заканчивает он свои “Кручи”, — что Кассандра во мне никогда не выдерживает до конца своей роли» (III, 382). Но гуманизм приближавшийся к концу пути Вяч. Иванов все же принимал только в свете «Ессе Номо». ²⁹

